

Былое Иакова

Автор:

Томас Манн

Былое Иакова

Томас Манн

Иосиф и его братья #1Эксклюзивная классика (АСТ)

«Былое Иакова» – первая часть монументального цикла «Иосиф и его братья», романы из которого Томас Манн считал лучшими своими произведениями. В художественной интерпретации ветхозаветного сюжета он ставит вечные вопросы о жизни, происхождении человека и поиске Бога, тем самым стирая границы между прошлым и настоящим.

Эпопею открывает подробнейший рассказ о непростой судьбе Иакова. Украв первородство и отцовское благословение у брата Исава, он становится изгнанником в родных краях и находит приют в доме своего дяди Лавана. Здесь Иакову предстоит с честью пройти уготовленные испытания, познав как радости, так и горести: встретить любовь своей жизни Рахиль, служить за нее долгих семь лет, по воле случая взять в жены ее сестру, родить двенадцать сыновей, одному из которых – Иосифу – суждено будет занять особое место в библейской истории...

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Томас Манн

Былое Иакова

Пролог

Сошествие в ад

1

Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?

Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже опустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да, именно «снова и снова»; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неумностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, к которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысы.

Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоисточке, довольствуясь какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами.

Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука коссеянин Куригальзу, властелин четырех стран,

царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшее добрый бог, третий носитель имени «Амун-доволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости – лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амореев, в Бет-Шане, Аялоне, Та’Анеке, Урусалиме служили Аштарты, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как Луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, – Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, – так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южноавилонском городе Уру, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский».

Оттуда в далеком прошлом – Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, – отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель; взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствия, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом тех мест, радевшим, как втайне был убежден пращур из Ура, не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том,

чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной – Нимрода и властелина земного – власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника: громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например в наименовании горы Синай; или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигавший, по воле Нимрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от нимродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнениями; а так как с душою, полной сомнений, не сидится на месте, то он и тронулся в путь.

Он прибыл в Харран, город Луны на Севере, город Дороги в земле Нахараин, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило, – беспокойства души, которое, хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было скорее изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харран, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только «городом Дороги», то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели.

Так он пришел на Запад, к амореям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое Солнце, в Страну Ила, где вода бежит вспять, не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север; где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на Запад, то есть в край, лежащий между Страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец.

Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечности, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, – предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, «врата» которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их – узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, ссылкой на давнишний замысел бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая родину, он уже заранее облюбовал для себя страну амурреев; а то, что он в виде опыта посетил также страну могил и курносой девы-львицы, говорит скорее как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Нимрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки оазисов и вернулся оттуда на Запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о боге, и если он сподоблялся каких-то обетований, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия бога, которому он с самого начала и старался приобрести сторонников и радетелей. Он страдал и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасна, говорил ему новооткрытый бог, твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе стольких приверженцев, сколько песка на дне морском, и повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых в ней заключен, – одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему в видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как он, людей

внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным «благословением», и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь судьбою» – вот более четкий и более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано; а уж означает ли эта судьба благословение или нет, это вопрос другой, вопрос, второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно, утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала бога, выведшего из Халдеи урского странника, истинным Баалом и Адду круговорота, семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной, духовной и физической жизни.

2

Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Нимродом, первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет – такой же, как между нами и готическим средневековьем – такой же и все-таки не такой же.

Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более

тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, – хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, – Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, – что они, вообразив, будто, кроме них, не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.

Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, – образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца – причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще его отец и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю аморреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота соответственно в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.

Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим, например Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто «Мардуком», а Нинурту «Солнцем», он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его, странника, личная история, а у того отца – свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот.

Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, – куски ее Иосиф знал даже наизусть, – был сыном Эи, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева – древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, – но была ли она началом начал?

Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время,

отстоял от начал человечества (не говоря уж о началах вещей вообще) математически так же далеко, как мы, потому что начала эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным в точности так же, как путал Иосиф урского странника, с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой – со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль.

3

Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слышал их от путников, которые заворачивали в Хеврон и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, старого Елиезера – не следует путать его (как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику, к его удовольствию), не следует путать его с Елиезером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания; у нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашшурбанапала, царя вселенной, сына Ассархаддона, сына Синахериба, и иные из этих глиняных, серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшем и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно; ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь шестьсот лет до нашей эры Ашшурбанапал – владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, «премудрый», как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, – велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашшурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письмена этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя.

Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы наконец признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания опять-таки какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости, – мы могли бы продолжить эту цепь, не смей мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что? мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца.

У жителей земли Египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кириаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой, – короче, незапамятной – давности египтяне говорили: «Это случилось в дни Сета» – так звали одного из их богов, коварного брата их Мардуга или Таммуза, которого они именовали Усири, страдальцем; прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютей зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней... «В дни Сета» – людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры.

На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, пятидесятитрехметровой высоты полулев-полудева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом, и нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос Четвертый, золотой коршун и могучий бык, любимец богини Правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же восемнадцатой династии, что и Амун-доволен, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет

до того царь Хуфу, из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил.

Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «Гор на светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом: когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли Египетской. В часто повторявшемся уверении, что первую египетскую династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менес или Гор-Мени, а дотоле была «преддинастическая эпоха»; что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, – во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды, и, если взглядеться пристальнее, то первопрародитель Мени – это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11 340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно четырнадцать тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолепия, на эпохи безвластия и многовластия и на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству более ранняя разобщенность; сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», «опять-таки» и «предшествовать» – сказать нельзя; сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзании Усира, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, Буто и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.

«В дни Сета» – это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему; нам тоже, как и людям земли Египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях: ведь на какие дела человеческие ни кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык, и все на свете, если взглянуть как следует, уходит своим началом действительно «в дни Сета».

В тот момент, когда начинается наша повесть, – момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать «со дней Сета», – итак, в ту пору Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него в щадящем объеме: когда ему хотелось, он пас вместе с ними на выгонах у Хеврона овец, коз и коров своего отца. Каков же был вид этих животных и чем отличались они от тех, которых пасем и содержим мы? Ровно ничем. То были такие же добрые и мирные твари, прирученные в такой же мере, как ныне, и вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово «давно»: крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам и от которой амуррейский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, – разница тут ничтожна.

Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была «некогда» выведена Иаковлева и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее «давно» не существует вообще. Она стала домашним животным не иначе как в дни Сета, и приручение лошади, осла, козы и свиньи, предком которой был растерзавший овчара Таммуза дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около семи тысяч лет, и за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за пределами человеческой памяти.

Тогда же произошло и превращение диких и тощих трав в благородные хлебные злаки. Наша ботаника, к величайшей своей досаде, не в состоянии возвести наши зерновые растения, которыми питался также Иосиф, – ячмень, овес, рожь, кукурузу и пшеницу, – к их дикорастущим предкам, и ни один народ не может похвастаться, что он первым стал сеять и разводить эти злаки. Нам известно, что в каменном веке в Европе было пять разновидностей пшеницы и три

разновидности ячменя. Что же касается открытия виноградарства, достижения беспримерного, если смотреть на это как на завоевание человека, отвлекаясь от всяких других возможных по этому поводу суждений, то предание, несущее отголосок головокружительных глубин времени, приписывает эту заслугу Нюю, пережившему потоп праведнику, тому самому, кого вавилоняне называли Утнапиштим и еще Атрахасис, премудрый, и кто поведал о началах вещей позднему своему потомку Гильгамешу, герою упомянутых клинописных поэм. Этот праведник, как Иосиф тоже знал, прежде всего насадил виноградники, – что, кстати, казалось Иосифу не таким уж праведным делом. Неужели тот не мог посадить что-нибудь действительно полезное? Смоковницы, например, или маслины? Так нет же, он вырастил сперва виноград и опьянел от вина, и когда он был пьян, над ним надругались и оскостили его. Но если Иосиф думал, что чудовищный этот случай произошел не очень давно и что виноградарством люди начали заниматься всего за какой-нибудь десяток поколений до его «прадеда», то это было мечтательным заблуждением, благочестиво приближавшим невообразимую древность, – причем и эта древность, добавим мы с тихим изумлением, была, в свою очередь, уже настолько поздней, уже настолько далекой от начала рода человеческого, что могла родить премудрость, способную на такой подвиг цивилизации, как облагороженье дикой лозы.

Где истоки человеческой цивилизации? Каков ее возраст? Мы задаем этот вопрос, глядя на далекого Иосифа, чей уровень развития, если не считать маленьких мечтательных неточностей, вызывающих у нас дружелюбную улыбку, существенно уже не отличался от нашего. Но стоит только задать этот вопрос, как сразу же дразняще открываются все новые и новые мысы. Когда мы говорим о «древности», мы обычно имеем в виду греческо-римский мир, то есть мир сравнительно свежей новизны. Дойдя до так называемых «коренных» жителей Греции, пеласгов, мы видим, что острова, где они осели, были дотоле заселены настоящими коренными жителями, племенем, которое овладело морем еще раньше, чем финикияне, и, значит, финикияне как «первые морские разбойники» – это только очередная завеса, очередной мыс. Мало того, наука все увереннее предполагает, что эти «варвары» были колонистами с Атлантиды, затонувшего материка по ту сторону Геркулесовых столпов, который некогда соединял Европу и Америку. Но вот чтобы он был первой обитаемой областью земли, – это предположение настолько сомнительно, что граничит с невероятностью и лишь наводит на мысль, что начальная история цивилизации, а также история премудрого Нюя связана с какими-то гораздо более древними, намного раньше погибшими землями.

Это недостижимые мысы, которые можно только туманно обозначить упомянутым египетским выражением, и народы Востока поступали умно и благочестиво, считая зачинателями своей культуры богов. Красноватые люди Мицраима видели в страдальце Усири благодетеля, который первым обучил их земледелию и дал им законы и чья деятельность прервалась только из-за козней Сета, уподобившегося дикому кабану. Китайцы считали основателем своей державы императора-полубога по имени Фу-Хи, который будто бы ввел у них разведение крупного скота и обучил их прекрасному искусству письма. Для астрономии они тогда, в 2852 году до нашей эры, явно еще, по мнению этого высшего существа, не созрели, ибо, согласно их летописям, эта наука была преподана им только тринадцать столетий спустя великим чужеземным императором Таи-Ко-Фоки, хотя синеарские жрецы-звездочеты разобрались в знаках зодиака, несомненно, уже за много веков до этого, и у нас есть даже сведения, что один из участников похода Александра Македонского в Вавилон послал Аристотелю нацарапанные на обожженной глине халдейские астрономические выкладки, которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно; ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей, по Солону, за девять тысяч лет до рождения этого ученого, и что, значит, уже за одиннадцать с половиной тысяч лет до нашей эры человек дорос до усвоения этих высоких искусств.

Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше – ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая, поначалу с помощью Елизера, и вавилонскую, и финикийскую, и хеттскую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу или, вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом историй, а в Тире и Сидоне – Таутом и повсюду считали изобретателем знаков и летописцем древнейших событий, – к египетскому Тоту из Шмуна, письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там внизу больше всех других должностей, – к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса и, что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Иакове, своем отце, юноша не смел и заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг; ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то или, во всяком случае, недолго обижались на него за такие

маленькие отступления от дозволенного.

Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось во дни Тота. Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежавший Гор-Сенди, царю второй тамошней династии, но уже тогда, шесть тысяч лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сенди получил его в наследство от Сета. В царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей Солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими на исполинских каменных глыбах. Однако в столь широкой распространенности знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы.

Но уж если так несметны века запечатляемой знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, праязыком, был индогерманский, индоевропейский язык, санскрит. Но можно не сомневаться, что этот «первоисток» выбран так же опрометчиво, как всякий другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержащий в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертания которой маячат последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека.

5

Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек как биологический вид появился пятьсот тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-первых, иметь в виду, что, по данным нынешней науки, человек как животное является древнейшим млекопитающим и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на земле в различных зоологических личинах – в виде земноводных и пресмыкающихся; во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясаемый проблесками зачаточного еще разума, чтобы тот похожий на сумчатое животное, бродящий, как во сне, зверь, каким, по-видимому, был человек до появления премудрого

Утнапшима-Ноя, изобрел стрелы и лук, научился пользоваться огнем, ковать метеорное железо, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград, – одним словом, стал тем смышленным, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже на самых первых порах своей истории. Один саисский жрец истолковал Солону греческое предание о Фаэтоне в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг Земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на земле. И правда, становится все несомненное, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретающие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется в глубь времен.

Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали среди прочего историю великого потопы. Иосиф все равно узнал бы об этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и в вавилонской передаче; она бытовала на его Западе вообще и в кругу его близких в частности, хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в Двуречье. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложении, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая и животных, неописуемо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась и, если сеяли пшеницу, плодила плевелы, а так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов господь и творец, чьи ангелы и те замарались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней двадцатилетней отсрочки вынужден был, к собственному огорчению, обрушить на землю карающие хляби! И о том, как Господь Бог по величественному своему добродушию (которого ангелы отнюдь не разделяли) все-таки оставил для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Ной со своими животными, – об этом Иосиф знал тоже. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег: то был десятый день месяца хешвана, а потоп начался в семнадцатый, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и прибывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался, об этом не задумывался и старик Елиезер, и тут-то начинаются всякие сокращения, смешения и смещения, которых так много в этом предании.

Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Евфрат, река и вообще-то довольно беспокойная и буйная, или столь глубоко, с таким вихрем и землетрясением, вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события не скажем: породили, нет, но, во всяком случае, в последний раз освежили предание о потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях великим потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно, и чем оно ближе, тем любопытней вопрос, удалось ли и как удалось поколению, испытавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с великим потопом. Да, удалось, но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены или могли быть извращены даже при самых благочестивых побуждениях; откуда людям знать, праведны или неправедны они перед богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые люди не знают бога и не знают приговора преисподней; во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд, тем более что их предостерег уже один мудрец и дока, который умел толковать знаменья и, благодаря хитроумной своей предусмотрительности, единственный из множества тысяч ускользает от гибели, но сперва доверяет земле скрижали своего знания, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова. Во всякое время – таков девиз этой тайны. У тайны этой нет времени; но форма вневременности – это Вот Сейчас и Вот Здесь.

Итак, потоп был у Евфрата, однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив был повторением потопы, случившегося на тысячу пятьдесят лет раньше, при пятом императоре, и Ноя этого потопы звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим, великим, первым потопом, ибо память об этом событии-подлиннике сохранилась у самых различных народов; подобно тому как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, представляла собой лишь список со все более и более древних подлинников, сама идея потопы восходит ко все более отдаленным прообразам, и последним, истинным ее прообразом люди – с наибольшим, по их мнению, основанием – считают погружение в морскую пучину земли Атлантиды; эта ужасная весть, считают они, проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепила в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел,

промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам халдеев, от великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39 180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за девять тысяч лет до Солона, то есть катастрофу с точки зрения истории земли весьма позднюю, никак нельзя считать великим потопом. Она тоже была только повторением, только претворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием; истинное же начало этой истории надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием «Лемурия», в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана.

Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обоих Египтов, упомянутый уже курчавобородый Куригальзу, а равно и Гор, что блистал во дворе в Фивах и носил имя «Амун-доволен», и все их предшественники и преемники были плотскими ипостасями бога Солнца, – то есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, «является» ли просфора телом жертвы или только «означает» его, наступили только три тысячи лет спустя; но и эти весьма праздные словопрения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, праздника. Каждое рождество заново рождается на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бет-Лахаме во время летнего солнцестояния Иосиф на «празднике плачущих женщин», «празднике зажженных светильников», празднике в честь Таммуза, под всхлипывания флейт и крики радости, переживал, как будто все это случилось при нем, – и убийство «пропавшего сына» отрока-бога, Усира-Адонаи, и его воскресение, – то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает, – занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводье великий потоп.

6

К истории потопа примыкает история Великой Башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она оживала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первая. Что,

например, башню вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагила, или Дом Вознесения Глав, Иосиф считал той самой великой башней, – это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник из Ура, безусловно, считал ее великой башней, да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синеар на этот счет не было никакого другого мнения. Древняя и громадная башня Эсагила, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий – черноголовых – сам Бел, творец, а обновил и достроил законодатель Хаммурагаш, семиуступная эта башня, о финифтяном великолепии которой слышал Иосиф, была для всех халдеев зримо-реальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен – Великой Башни, творения рук человеческих, высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказание о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например с идеей «рассеяния», то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом; для людей Синеара между мигдалами, крепостными башнями их городов, и названным нами понятием не было ничего общего: напротив, законодатель Хаммурагаш велел оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы «вновь сплотить» под своим, посланца неба, владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок, однако, усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и вопреки единодержавным намерениям Нимрода рассеялся; поэтому то прошлое, которое реально воплощалось в Эсагиле, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской Нимродовой дерзости; камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова старый Елиезер, сохраняя двойной смысл слова «некогда», то единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, халдейская башня.

С ней, таким образом, и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила – это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Мицраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробье царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки, тоже имелась своя «башня» или, вернее, своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, непременно вызвали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение – дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами: какой-то, по уверениям тамошних жителей,

пришедший с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многие говорят в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды, и похоже на то, что куда бы ни прибывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, у них не находилось более срочного дела, чем соорудить на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек и, в частности, Горы Богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно, стало быть, что прообраз Великой Башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более давнюю историю Башни и потому кончаем свои рассуждения об этом странном предмете.

7

Где же находился рай, «сад на востоке», место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан или, вернее, изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных гор и плодовых рощ, утопающий в прекрасно орошенных садах и кишмя кишущий самым разнообразным людом. Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной – Египет. Курчавобородые синеарцы тоже считали, что их столица, которую они называли «Врата бога» и «Союз Неба и Земли» (мальчик Иосиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке: «Вав-илу, маркас шаме у ирси-тим», – произносил он быстро и ловко) – что Вавилон, стало быть, – это священная середина вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа вселенной более подробные и точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который, еще в молодости отправившись к дяде в страну Нахараим, на пути в Харран от «Семи колодцев», где жила его семья, нежданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинный пуп вселенной: то был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Вефиль, Дом Божий, ибо здесь, убегая от Исава, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье, здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связующая небо и землю; но рай был и не здесь, а на изначальной

родине, он, по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем, широко распространенному, находился где-то там, откуда некогда вышел странник лунного города, в нижнем Синеаре, где разделялась река и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды.

Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли, надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса-преграда, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать, – только на этот раз тут есть что-то необычное, в точнейшем смысле слова заманчивое и уводящее за пределы земного; только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину – вернее, бездонность, к которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит, наоборот, представление о высоте и о свете, – о светлой высоте, откуда и произошло падение, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства.

Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Эдема, сказано там, выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом; он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон – это Нил, величайшая река мира, а обтекает он землю мавров. Что же касается Хидекеля, реки быстрой, как стрела, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Фисона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.

Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник, «Фрат», или Евфрат, выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ устья Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше.

Четыре стороны – так учил Иосифа уже старик Елиезер – дал миру бог: утро, вечер, полдень и полночь, хранимые у самого престола господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре страны света глядят нижеегипетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Так же расположены и райские реки. В своем течении они подобны змеям с соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой, исчезнувшей земли, а именно – Атлантиды, где, по Платону, посреди острова возвышалась Гора Богов, а от нее точно так же, то есть крестом, на четыре стороны света, растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении «главных рек» и о местонахождении самого сада приобретает успокоительно праздный характер благодаря сведеньям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокомудрое человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но «садом в Эдеме», прародиной и местом падения, эта страна вовсе не была; она лишь кулиса, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая; ибо первобытного человека, адамита, история земли относит ко временам и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды.

О, дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, – то как можно было при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблужденье, зная о мире лемуридов, составляющем самый близкий и самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека, существо, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилось одновременно сладким и страшным сном своей жизни в отчаянной борьбе с огромными броненосными саламандрами и летающими ящерами? Это не был «сад в Эдеме», это был ад. Это была скорее первая после паденья, несчастная полоса. Нет, не здесь, не у начала времени и пространства, был сорван и съеден плод с дерева вожделья и смерти. Это случилось раньше. Колодец времен целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились; история

человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли, она древнее, чем жизнь, на его воле основанная.

8

Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющимися друг друга гносеологиями Востока, авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского adam gadmon; его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества; образ этот разные ученья и преданья варьируют, но в самом существенном они совпадают. По смыслу их, в начале начал прачеловек был избранником бога и борцом против проникавшего в новосозданный мир зла, но потерпел поражение, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существования и вернул его в царство света, однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных человеков. Чудесные истории! В них уже различим элемент веры в спасенье, но он еще прячется за космогоническими целями: оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствуют семь планет, – те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины светочеловек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отражение, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дольней природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольному миру.

В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проясняется смысл занимающего нас предания; ведь такое прояснение наступает в тот миг, когда уход сына-бога из горнего царства света в низменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно-добровольного, вожделенного действия, характер, стало быть, какой-то провинности. Одновременно перестает быть загадкой значение «второго посланца», в высшем смысле тождественного светочеловеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от пут темноты и

вернуть восвояси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица – материю, душу и дух, – между каковыми, с участием божества, и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека, роман, который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца и дает ясные сведения об истинном месте рая и о «падении».

Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась – это слово употреблено в прямом смысле и показывает направление – к бесформенной еще материи, одержимая желанием слиться с ней и произвести из нее формы, которые доставили бы ей, душе, плотское наслаждение. Однако после того, как душа поддавалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унялись, но даже усилились и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и косной, держалась за свою первобытную беспорядочность, наотрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей; он сотворил мир, то есть создал в нем, в угоду первобытно-человеческому началу, прочные, долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, как дословно сказано в цитируемом нами источнике, он послал в этот мир, к человеку, дух, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух и твердит, о том и напоминает без устали заключенной в материю душе, что, если бы не ее дурацкое соединенье с материей, мир не был бы сотворен и что, когда она отделится от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу и есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью душа, поняв эту ситуацию, вновь признала наконец горнюю свою родину, выкинула из головы дольний мир и устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, дольний мир бесследно исчезнет; к материи вернется ее косное упрямство; не связанная больше формами, она сможет, как и в правечности, наслаждаться бесформенностью, и значит, тоже будет по-своему счастлива.

Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнуто последнее «раньше», представлено самое дальнее прошлое человека, определен рай, а история грехопадения, познания и смерти дана в ее чистом, исконном виде. Прачеловеческая душа – это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда, еще до времени и форм, как всегда были бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем «второго посланца», призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родственен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе; он порожден и послан богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прачеловеческая душа выступает божьим соратником в битве против зла и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу, посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие скорее потому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души духом, и в этом пункте явно должно быть дополнено.

Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, samozабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении; убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделья и воспарила домой, – что? незамедлительно вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое или примерно то же происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь внизу, тем заметнее – таково уж тлетворное влияние чужбины – какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере и, по всей вероятности, привел бы к отзыванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене.

Нет ни малейшего сомнения, что по мере того как игра затягивается, дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Приноравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя, наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это в самом деле вопрос позиции, точки зренья, решить его можно и так и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задаче, иначе с тобой произойдет то, что мы, не обинуясь, назвали растленьем, и ты не выполнишь естественного своего назначения. Тут обнаруживается известная слабыхарактерность духа, ибо своей славой смертельного начала и разрушителя форм – славой, которой он к тому же обязан главным образом собственной натуре, собственной, оборачивающейся даже против себя самой воле к рассуждению, – этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу; но, поддаваясь этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу и в ее страсти, он говорит совсем не то, что? собирался сказать, поощряет душу и ее увлечение и, прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение; не продолжает ли он все равно, даже и таким способом, служить цели, ради которой послан, то есть уничтожению материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что, в сущности, знает, что может себе позволить подобное поведение, – этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливо-самоотступническом слиянии воли духа с волей души можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой «второй посланец» есть второе «я» светочеловека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения бога, показавшиеся нашему учению слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо.

Если все как следует взвесить, то о «грехопадении» души или изначального светочеловека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой – легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед богом, – нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере согласно принятому нами

учению, от бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что бог запретил первым людям есть от дерева познания «добра и зла», то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого бога, в результате познания материи душой; и если бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход, и непонятно только, зачем это богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызывая злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества весьма недоброжелательно. А во-вторых, поскольку слова «добро и зло» несомненно представляют собой, как всеми и признано, глоссу и добавление к чистому тексту и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является не нравственная способность различать добро и зло, а смерть, – то вполне вероятно, что и само упоминание о «запрете» тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную вставку.

В пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней если не симпатией, то уж, во всяком случае, жалостью, – ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь, он лично вмешался в ее познавательно-любовное единоборство с материей, создав из материи смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении бога границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно или даже вообще невозможно.

Говорить о грехе, подразумевая под грехом неуважение к богу и выраженной им воле, в данном случае не вполне правомерно, особенно если учесть своеобразное пристрастие бога к племени, возникшему благодаря совокуплению души с материей, к человеческому роду, с самого начала явно, и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого Елиезера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы и сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы, сказано там, бог мудро не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла, царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего они показывают, что «строгость» присуща не столько богу, сколько его окружению, от которого он, конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если,

опасаясь препятствий с этой стороны, не сказал о своей затее всей правды, а кое-что предал огласке и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они – и, наверно, не без основания – подозревают, что богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы, вроде: «Что есть человек, господи, и какой тебе от него прок?» – не сходят у них с языка, и бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Семаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было двенадцать пар крыльев, а у священных животных и у серафимов всего по шести, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как явствовало из уроков Елиезера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Семаил всегда подзуживал ангелов против человека или, вернее, против того пристрастия, какое бог питал к человеку; и когда однажды господь повелел рати небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, все, хоть и пряча усмешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Семаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем сотворенным из сияния славы божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного, – и тут-то как раз он и был низвергнут, что?, по описанию Елиезера, издали походило на паденье звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиление греховности на земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморре, – это очередное торжество для святой рати и очередная задача для творца, который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку – не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей «второго посланца», духа? Действительно ли он послан затем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: <https://tellnovel.com/tomas-mann/byloe-iakova>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)